

[Polaris]

Андре Моруа



**ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ
АРТИКОЛЕЙ**

Затерянные миры
Том XX

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

ССХХ



Salamandra P.V.V.

**Андре
Моруа**

**ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ
АРТИКОЛЕЙ**

Затерянные миры

Том XX

Salamandra P.V.V.

Моруа А.

Путешествие в страну Артиколей. Авториз. пер. А. Даманской. Илл. А. Алексеева (Затерянные миры. Том XX). – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 58 с., илл. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. ССХХ).

Путешествующие по Тихому океану французы попадают на остров, где высшей ценностью является искусство. Но жизнь в этой утопии творцов, как повествует в своей изящной фантастической новелле А. Моруа (1885-1967), таит в себе и неприятные сюрпризы...



ПУТШЕСТВИЕ В СТРАНУ АРТИКОЛЕЙ

Я буду рассказывать лишь о том, как живут Артиколи, о том, что пришлось мне среди них пережить. Повесть о днях, предшествовавших нашему приезду на их остров, войдет в мою большую книгу «Тихий океан», которая окончена будет года через два-три.

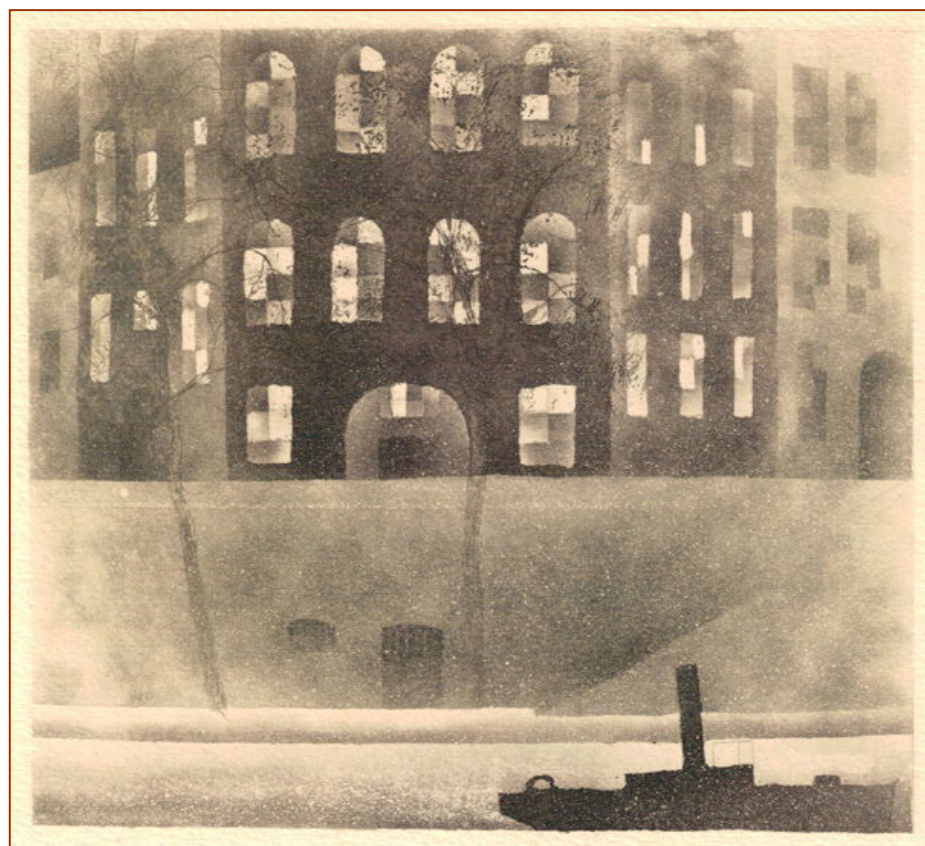
Но для того, чтобы страницы эти понятны были читателю, я полагаю необходимым кратко изложить, как затеяно было это необычайное путешествие.

Мой отец, Жан Шамберлан, имел небольшой судостроительный завод, и я почти все свое детство провел с ним в Фекампе и в Этрета*. Самым большим для меня удовольствием было выезжать в море с рыбаками в старых пузатых лодках, которые называют в Ла-Манше «калошами». Море я полюбил уже в ранние годы, и моряком я считаю того, кто под парусами ездит по морям, и чувствует ветер, и волну. Для меня моряки современные, подводных лодок или моторных яхт, те же шоферы, смело гоняющие по морю с гоночным автомобилем.

Мои приятели-рыбаки очень почтительно относились к маленькому барицу из Фекампа, и среди них нажил я привычку к безусловному к своей особе уважению. Когда родители поместили меня в парижский лицей, где товарищи подтрунивали над моим нормандским акцентом, я стал угрюмым человеконенавистником. Засунув руки в карманы, бродил я одиноко по школьному двору. Я жаждал дружеского сочувствия, но робость моя мешала мне искать и располагать к себе друзей.

К счастью, при самом выходе из лицея, меня настигла война. Она бросила меня в условия жизни, отвечавшие моему странному характеру. Опасность, лишения, грязные привалы, холод и дожди — не пугали меня. Я боялся только непосредственного, тесного общения с людьми. Но я скоро

* Фекамп и Этрета — города на Ла-Манше (Здесь и далее, за искл. отмеченных, прим. перев.).



произведен был в офицеры, и, благодаря дисциплине, внешняя моя жизнь сложилась так, как это мне нужно было.

Одно увлечение, мимолетное, еще увеличило мою застенчивость. В госпитале, где я отлеживался после полученной раны, я влюбился в миловидную сиделку и сделал ей предложение. Она ответила отказом. И во время отпусков я стал уже избегать и женское общество.

Перемирие, затем мир, для меня, как и для других людей, явились событиями скорее печальными. К чему приткнуться? Ни к какому делу я не был подготовлен. Отец мой умер во время войны. Суда его были проданы. Меня влекло только море, да еще военная служба. Я решил было остаться в армии. Но жизнь в казармах так не похожа на жизнь походную, лагерную. Моя нелюдимость уже переходила в неврастению. Все, что занимало моих товарищей, мне казалось глупым и вздорным. В 1922-ом году я вышел в отставку. Незадолго до того умерла моя мать и оставила мне небольшие средства. Я подумывал об отъезде в наши колониальные владения.

В те дни вышла книга — дневник молодого француза, Жербо, проехавшего Атлантический океан в маленьком, длиною в одиннадцать метров, катере. Книга эта явилась для меня откровением. Вот для чего я создан — для такого вот одинокого плавания! Но меня пленял не Атлантический, а Тихий океан. Книгами Стивенсона, Швоба*, Конрада я зачитывался и давно жаждал увидеть острова с такими очаровательными названиями, как: Бутаритари, Апемама, Нонути. Слово «атоллы»** — волновало меня: я представлял себе хрустальные гирлянды, окаймляющие синие лагуны. Я боялся европейской женщины, ее кокетства, кап-ризов, и волновался, представляя себе суще-

* Поэт Роберт Стивенсон, зачарованный Полинезией, <жил> на острове Таити, где он схватил злокачественную лихорадку и кончил свой недолгий век. Другой поэт, Марсель Швоб, поехавший спасать Стивенсона, свое восхищение этими островами, о которых писал друзьям, превращал лишь в одно или два стихотворения.

** «Атоллы» — кольцеобразные коралловые острова.

ство, каким мыслилась мне женщина примитивная: маленький, верный, тихий, чувственный зверек. Решение мое созрело в один час.

Жербо в приложении к своей книге давал кой-какие практические советы тем, кто пожелал бы последовать его примеру, подробные указания насчет самого типа судна, и подробный список провизии и вещей, какими следует запастись. Я сделал смету и к большому моему огорчению убедился, что у меня может не хватить денег на такое путешествие. Мой нотариус, с которым я выяснял мои денежные возможности, посоветовал мне обратиться к редакторам больших газет, к какому-нибудь издателю, и достать деньги в виде аванса под книгу о моем путешествии. Это был мудрый совет: я подписал два выгодных договора, получил авансы и заказал небольшое судно. Совсем маленькое, однопалубное и снаряженное, как бермудский катер. Газета, которой я обязался давать путевые очерки, пожелала, конечно, подчеркнуть важность этой экспедиции, оповестив о ней заранее своих читателей, и мне предложено было написать предварительную статью. Я изложил намеченный мною маршрут и в течение целой недели получал через редакцию самые изумительные письма. Большинство моих корреспондентов выражали желание сопровождать меня. Я понял тогда, что мое душевное состояние, страх общечеловечности, жизни на людях, жажда уйти от мира в наше время — явления, встречающиеся гораздо чаще, чем это может казаться. Много офицеров русского флота, превратившихся в Париже в шоферов, в привратников, просили меня взять их с собою в качестве матросов. Мне предлагали свои услуги естествоиспытатели, кинорежиссеры, ресторанные повара. Особой настойчивостью отличались просьбы женщин: «Я была так несчастна... Я буду вашей рабой... Буду чинить вам паруса и стряпать обед... Вы можете считать меня просто своей служанкой. Я должна, во что бы то ни стало должна уехать из Франции...» — писала одна. — «Я видела ваш портрет в газетах — писала другая кандидатка, — у вас грустное, но приятное лицо и красивые глаза». — Письма эти потешали меня, но уехать я твердо ре-

шил — один.

Письмо Анны пришло одним из последних.

Еще не распечатав его, я знал уже, что оно не похоже ни на одно из полученных раньше. Мне понравилась простота и доброкачественность бумаги, четкость почерка, твердые линии букв.

«Я не знаю, милостивый государь, достойны ли вы этого письма. Узнаю это по тону ответа, если вы ответите мне, на что мало вероятно. Я прочла вашу статью. Вы собираетесь осуществить то, о чем я лишь мечтаю. Я всегда больше всего любила море. Когда я на суше, я только и думаю, что о соленых канатах, об упругом ветре, о брызгах соленой воды, шлепущих по непромокаемому плащу.

Острова Тихого океана... Когда я читала, что вы написали о них, мне казалось, что я слушаю себя. Так вот: я вдова, очень молода, богата и совершенно независима. Я хотела бы поехать с вами. Письмо мое читайте без задних мыслей, и прежде всего поймите, что я предлагаю вам не постельного товарища, а спутника. Думаю, что это возможно, и уверена, что сумею быть вам полезной. Я не знаю, как значительны ваши сведения в мореплавании. Мои друзья, а среди них несколько англичан, люди серьезные и искренние, находят, что я дельный и толковый моряк.

Вы мне необходимы, вы или другой, потому что на иные работы, где требуется значительная физическая сила, женщина, к сожалению, не способна. Деньги? — Мы разделим пополам расходы на покупку судна, снаряжение и путешествие. Неприятностей для себя вам опасаться нечего. Повторяю — я одна в мире, и никто у вас отчета обо мне не спросит. Почему я обращаюсь к вам, а не к кому-нибудь из моих друзей-моряков? Потому что затея, подобная вашей, явление редкое. И потому еще, что имена нескольких поэтов, на которых вы ссылаетесь в вашей статье, говорят мне о том, что у нас общие вкусы. Адрес мой: 39, набережная Бурбон. Номер телефона: Гобелен 31-35. Если пожелаете повидаться со мною, не откажите предупредить. Назначьте день и час, какие вам удобны. По вторникам и субботам я в утренние часы занята, слушаю лекции в музее».

Почему я ответил? это противоречило принятому мною решению... Мне понравилось письмо. Простота, мужественность стиля произвели на меня отличное впечатление. Имя Анна де Сов тоже звучало приятно. Отчего бы мне и не повидаться с нею? — говорил я себе, и уже находил доводы в пользу перемены решения. Она брала на себя половину расходов. Это обеспечивало возможность закончить путешествие без денежных затруднений и даже несколько продолжить его. Каюта, сравнительно с малыми размерами судна, была поместительна. Можно было легко уместить в ней две койки и отделить их друг от друга перегородкой. Когда я шел к г-же де Сов — я уже склонен был согласиться. Когда я увидел ее — я согласился. Ее нельзя было назвать красавицей, но лицо ее привлекало той же приятной выразительностью, определенностью, что сказывались и в ее почерке. Голос ее очаровал меня: теперь еще, после четырехлетнего знакомства, я нахожу пленительной ее простоту. Ни тени принужденности не ощущал я в ее обществе, и даже мысль, что такая женщина может в чем-либо стеснять меня, казалась мне нелепой. Она говорила обо всем просто, без уклонений от темы беседы, без обиняков. Это была, впрочем, деловая беседа двух моряков. После первых вступительных фраз, пять минут спустя мы уже выводили на бумаге чертеж судна и составляли список необходимых вещей. Анна представляла себе это желанное плавание на двухпарусном судне, — большой парус и кливер, без бугшприта, но мое судно было уже на верфи, и потом для двух человек управление судном моего типа больших усилий не требовало.

Она очень удивилась, узнав, что я заказал судно во Франции. Удобнейшей гаванью для выхода в Тихий океан был Сан-Франциско. И у нее были друзья в Америке, которые охотно согласились бы взять на себя присмотр за ходом работ. Доводы ее показались мне рассудительными, и я пообещал, что попытаюсь полюбовно расторгнуть заключенный в Сен-Назаре договор. Я уже говорил «наше судно»...

Когда мы разговорились, она дала мне и дополнительные сведения о себе самой. Она выросла в Вандее, в старой

патриархальной семье. В восемнадцать лет ее выдали, не спрашивая ее согласия, за богатого, старого соседа. В годы войны она потеряла родителей и мужа. Счастья не знала ни в юности, ни в замужестве.

— Но я не делаю из этого трагедии. Очень несчастна я никогда не была. Я наделена в достаточной мере чувством юмора, и в самые тяжелые минуты умею подмечать и комическую сторону моих горестей.

Все, за что она ни бралась, она делала хорошо, умно, со вкусом. Обстановка ее дома говорила о тщательной обдуманности каждой мелочи. Мебели было немного, но отличного качества. Стены были голые. Никаких безделушек. Много книг. Я прочел на корешках названия книг по медицине, руководства к искусству плавания трудов о мереплавании. У подъезда стоял ее автомобиль. Она сама отвезла меня в центр Парижа. Правила она отлично: спокойно и без малейшего напряжения.

II

Описание нашего путешествия из Сан-Франциско в Голлулу, как я уже говорил, включено будет в другую большую книгу. Отмечу лишь, что в течении всего переезда не было у нас никакого осложнения.

Судно наше «Allen» вполне приспособлено было для дальнего морского плавания. Первое время нам казалось необходимым проверять курс чуть ли не каждую четверть часа. Но мы скоро убедились, что в этом никакой надобности не было. Ночью шли под ветром, и, просыпаясь утром, к большому нашему удовлетворению, оказывались на верном пути.

Были у нас и три встречных бури, из них одна довольно сильная, и Анна доказала тогда свою отвагу.

Как я предвидел уже с первых дней нашего знакомства, она оказалась идеальным спутником. Это она, отличная организаторша, сделала в Сан-Франциско все нужные запа-

сы, и у нас все время был простой, но вкусный, здоровый стол. Дурное настроение было ей совсем чуждо. Даже в минуты опасности ей не изменяли естественность и точный, верный жест. Я ее называл «Ваша Ясность». Отношения наши были простые, дружеские. Ни ухаживания, ни покровительственных забот о себе Анна не допустила бы. Сказать, что мы жили, как два брата, было бы плоскостью, пожалуй. Но все же это вернейшее определение наших отношений. Должен, однако, полной точности ради, сознаться, что мое отношение к ней было несколько сложнее: я часто ловил себя на чувстве нежности, на желании... Но тогда я быстро принимался за какую-нибудь работу и старался думать о чем либо другом.

В мой план входило с Гавайских островов направиться на Таити, но сделав крюк, с тем, чтобы повидать Маркизы и Туамоту*. Гонолулу меня разочаровал: американское Монте-Карло. Мне казалось, что эти огромные кольца из белого коралла, поблескивавшие над поверхностью моря, дадут нам наконец новое, невиданное зрелище. Дней двадцать спустя после отплытия из Гонолулу, наблюдение, сделанное мною, убедило нас в том, что мы находились на 161 град. 2 мин. западной долготы и 5 град. 3 мин. северной широты. Мы приближались, стало быть, к группе островов Фаннинг, к островам утесистым и пустынным, но на которых, по морскому указателю Финдлея, должна была находиться английская телеграфная станция. Я рассчитывал сделать там новый запас пресной воды.

К вечеру мы вошли в полосу морской зыби. Небольшие коварные волны ударялись в форштевень нашего судна частыми, неровными ударами. Гребни волн рассыпались белопенными брызгами. А там поднялся ветер, усиливавшийся с каждой минутой, и черные, как чернила, тучи заслонили горизонт высокой стеной. «Аллан» стал сильно крепиться. Жарко было, как в паровом котле. Мы видели уже серьезные шквалы, но скоро поняли, что это были детские забавы в сравнении с этой бурей. Ветер неистовым галопом

* Острова Полинезии.



гнал по небу черных бешенных коней. Мы окружены были огромными, бушевавшими волнами, и каждая из них, взметнувшись, покрывала палубу, и судно, накренившись, погружалось в воду. Мы шли на всех парусах, но приходилось крепко держаться за мачту, чтобы ветер не снес нас в пучину. Выпрямленная бурей, с приподнятыми волосами, неподвижными бровями, Анна была в эти часы восхитительна: морская богиня. В полночь ясно стало, что бороться с усиливающейся бурей мы бессильны.

— Пойдем, отдохнем, — предложила Анна.

Каюта полна была воды, хотя мы заблаговременно опустили заслонки над решетчатыми окошками. Но мы были так утомлены, что, кое-как выкачав воду, крепко уснули.

Несколько часов спустя нас разбудил странный шум, сильные удары в бок нашего судна. День ли был? Ночь? — Ни зги не видно было. Судно стояло под крутым наклоном, как крыша дома. Держаться на ногах не было никакой возможности. С большими усилиями вскарабкался я на палубу. Тучи были так густы, небо так низко, что, несмотря на дневной час, на расстоянии тридцати метров ничего нельзя было разглядеть. Волны были высоты ужасающей. Оказался сломанным бугшприт. Это он и стучал по судну. Я пожалел, что не послушался совета Анны — без него можно было отлично обойтись.

«Аллан» представлял собою лишь жалкий обломок. Я кликнул Анну. Мне нужна была ее помощь для того, чтобы срезать бугшприт, который мог каждую минуту разнести судно в щепки. «Мне кажется, что мы погибли» — сказал я. Она глубоко вдыхала соленый воздух и улыбалась.

После часовой работы, во время которой меня несколько раз едва-едва не снесло в море, мне удалось, однако, срезать бугшприт. Одной опасностью меньше стало. По лицам нашим хлестал горячий, слепивший глаза дождь. Мы опять спустились в каюту. Одежда на нас в возне с бугшпритом изорвалась в клочки. Анна хотела переодеться, сундуки оказались затопленными водой. Но что еще хуже было: инструменты сбились в хаотическую кучу, хронометра моего мы никак найти не могли, от часов Анны оста-

лись одни осколки. Морские карты превратились в мокрый ком бумажной массы. Если мы не пошли ко дну, то плыть дальше мы могли бы лишь при возможности хотя бы приблизительно вычислять ход судна. Но как плавать без мачт и парусов? К счастью, эти мрачные мысли наши вновь были прерваны неодолимой усталостью и сном.

III

Когда я раскрыл глаза, меня поразили царившие кругом спокойствие и тишина. «Аллан» бесшумно покачивался на волнах. В окошко брезжил нежно-серый рассвет. Одним прыжком я выскочил на палубу, где ждало меня восхитительное зрелище. Перед нами на желтое, как шафран, небо выходило солнце. Ветер улегся. Ровными, длинными рядами растянулись по небу золотистые, лиловые облака. Блестящее, желтоватое небо отражалось в воде, тихо плескавшейся кругом судна.

— Анна! — крикнул я.

Она прибежала, я видел, — совершенно голая под одеялом.

— Спасены? — спросила она.

— Кто может знать?

— Но какая красота! Где мы?

Я напомнил ей, что мы лишены возможности определить это. Бог один мог знать, как далеко от намеченного нами пути увлек нас этот циклон.

— А паруса?

Я показал ей на груди ключев. Она сказала тогда, что попытается сделать парус из одеяла. Но мы, очевидно, были недалеко от суши, так как над нами кружили птицы. Мы уселись на палубе, на солнце, и принялись за работу. Самое удивительное было то, что несмотря на близость рокового, быть может, конца, несмотря на обреченность, как будто ни тревоги, ни печали мы не чувствовали. Наоборот,

оба мы испытывали чувство радостного какого-то облегчения.

Около полудня я спустился вниз — в надежде найти хотя бы лоскуток какой-нибудь карты. Когда я вернулся на палубу, Анна встретила меня радостным сообщением: «Земля!» — и указала на узкую, недлинную полосу, темневшую вдаль. Это был остров с высокой скалистой горой. Но мы были еще очень далеки от него. Я взобрался на верхушку мачты и долго размахивал оттуда лоскутом белья. К счастью, ветер быстро гнал нас к берегу. Скоро я уже ясно видел мыс, лес и, быть может, впрочем, мне лишь казалось, что я видел — блестящие крыши городских доков.

— Но как это странно, Анна... Это порт... Я вижу что-то вроде мола... Где же мы находимся? Это не острова Фаннинг. На них нет гор... И я не понимаю, какой бы это мог быть город...

Час спустя мы заметили плывшую к нам шлюпку. Когда она приблизилась, мы с удивлением увидели в ней белых матросов. Мы отчего-то рассчитывали увидеть байдару и туземных дикарей. Анна плотнее закуталась в одеяло, она была очень мила в этом облачении, с одним обнаженным плечом. На носу стоял боцман в обшитой галуном куртке.

— Кто вы? — крикнул он нам по-английски.

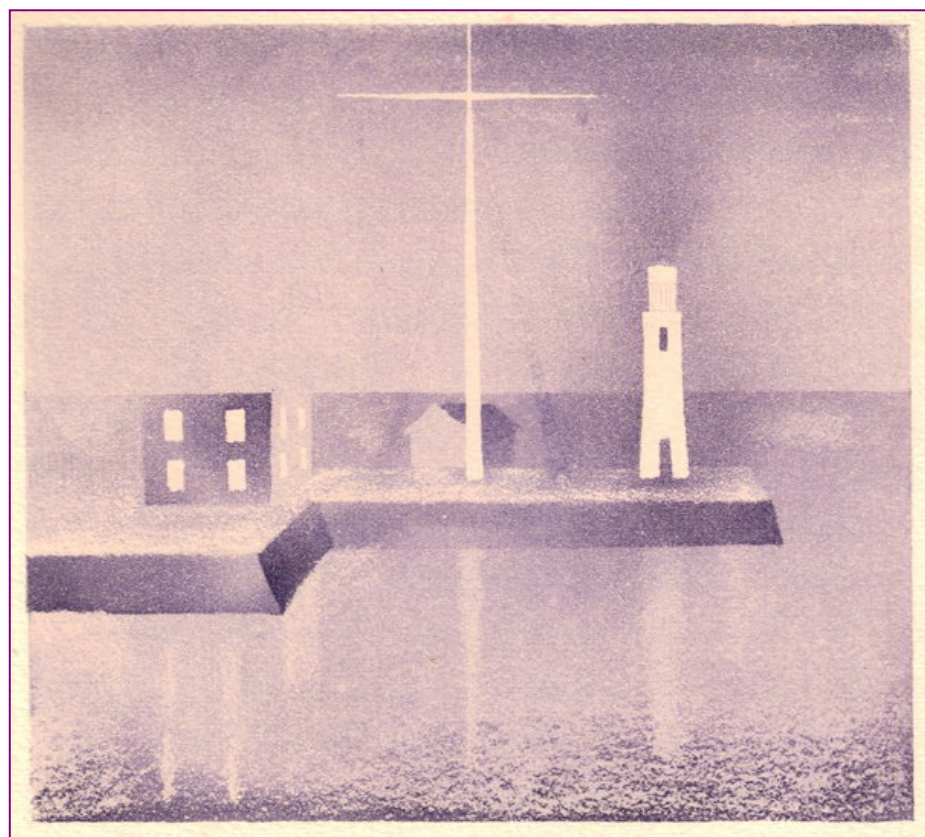
— Французы, переезжающие Тихий океан. Буря прошедшей ночью причинила нам большие повреждения. Мы могли бы починить здесь наше судно?

Он смущенно замаялся.

— Не сумею вам сказать... Как Комиссия решит. Прежде всего надо войти в гавань...

Я бросил ему канат и попросил его взять нас на буксир.

Он предложил нам перейти в шлюпку, но мне не хотелось уходить с нашего судна, Анна же, голая под своим одеялом, не хотела очутиться в таком туалете в обществе чужих мужчин, да еще одна... Он подхватил тогда конец каната и повел нас к берегу. Анна и я недоумевали: какой страны могли быть эти люди? Фуражки их не похожи были ни на фуражки английских, ни американских матросов.



— Австралийцы, что ли?

— Нет, не думаю.

На корме развеялся странной формы белый флаг с девятью женскими лицами.

Гавань была небольшая, но опрятная, даже нарядная. На молу, покрашенном, как и шлюпка, в синий и белый цвета, развеялся тоже белый флаг с девятью женскими лицами. Я впихнул в мешок кой-какие вещи, и мы сошли на берег. Наш спаситель повел нас в чистый барак, и спросил, чтобы нам желательно было получить до прибытия Комиссии. Анна выразила желание иметь платье, я — брюки, и один из матросов быстро побежал в город. Я спросил, есть ли тут французский консул.

— Нет, — ответил боцман, — здесь никаких консулов нет. Остров — частная собственность.

— Частная собственность? Чья же?

— Артиколей.

— А кто такие Артиколи?

Он завел опять речь о Комиссии. Мы ничего понять не могли.

— Вы тоже Артиколь? — спросила Анна.

— О, нет! — ответил он с смущенной скромностью, словно одно такое предположение было для него честью, — о, нет, я — Бео.

— Странно! Ну, а туземцы?

— Здесь нет туземцев.

— Как же называется остров?

— Когда-то он назывался Майяна. Теперь это остров Артиколей.

В это мгновение подошел матрос с пакетом, вручил его нам, почтительно поклонился и удалился.

Анна сбросила с себя одеяло и надела платье. Оно сшито было из легкой голубой ткани и перехвачено в талии шнуром. В пакете оказалась нитка крупного желтого янтаря.

— Подумайте! — сказала она, — какая внимательность... Они очаровательны, — эти таинственные люди!

Мы старались оба вспомнить, не слышали ли, не читали ли когда-либо про Майяну и про Артиколи. Но тщетно напрягали память: имена эти были нам совершенно незнакомы.

IV

На маленьком домике, облицованном лакированными досками, мы прочли выведенную на металлической доске надпись:

*Temporary Immigration**

Я ждал, что нас приведут в закуренное таможенное бюро, увешанное деловыми бумагами. Нас ввели в очаровательную комнату с большим полированным столом посередине, окруженным глубокими мягкими креслами. Подали чай — как его подают в английских помещичьих домах: розовый торт, зеленый торт, исполинских размеров кекс и тоненькие, поджаренные на масле ломтики белого хлеба. Вдоль стен стояли полки с плотными рядами книг.

В трех креслах сидели наши судьи. Когда мы вошли, они быстро встали. Сидевший слева был мужиковатого вида человек с небрежно, кое-как расчесанной бородой, с кроткими, глубокими глазами. У сидевшего посередине, рослого, крепко сложенного, было почти японского типа лицо, умное и суховатое. Сидевший справа был моложе этих двух и казался воздушным каким-то, готовым каждый миг сорваться и улететь. Его пушистые, вьющиеся волосы были льняного цвета, глаза синевато-серые. Председательствовал, по-видимому, сидевший посередине. К изумлению нашему, он заговорил с нами по-французски. Говорил он приятным голосом, немного нараспев, с забавной манерностью в оборотах речи.

* «Временная иммиграция» (англ.). (Прим. ред.).

— Позвольте вам представить, — начал он, — моих товарищей, — Ручко (это был коренастый бородач) и Снейк (красивый, воздушный молодой человек). — А я Жермен Мартен, и оттого, что я француз по происхождению, мне выпала честь председательствовать на допросе, которому мы должны вас подвергнуть. Считаю, однако, нужным поставить вас в известность насчет того, что литературный язык на этом острове — английский. Попрошу вас теперь сказать нам, кто вы и как вас зовут.

— Меня зовут Пьер Шамберлан, а мою спутницу — г-жа де Сов. Не знаю, дошли ли до вас французские газеты, печатавшие статьи о нашем намерении переплыть в небольшом судне Тихий океан. Буря отчаянно трепала нас несколько дней, и судну нашему причинила тяжелые повреждения. Мы хотели попросить у вас разрешения починить его здесь, и тогда мы двинемся дальше. У меня осталось на судне немного денег на оплату расходов по починке. Если бы этих денег оказалось недостаточно, то у г-жи де Сов имеются деньги на текущем счету в Вестминстерском банке, и я полагаю, что по телеграфу можно будет....

— Да полноте говорить о деньгах, — с оттенком раздражения в голосе прервал меня Жермен Мартен. — Какие пустяки! Наши Бео приведут ваше судно в порядок, и счастливы будут возможности услужить вам. Для нас, для комиссии Временной Иммиграции, важно выяснить прежде всего, можете ли вы получить разрешение на пребывание в стране Артиколей, а затем — не представится ли для нас необходимость удержать вас здесь на несколько месяцев.

— На несколько месяцев! — ужаснулся я. — Но...

— Прошу вас, — внушительно и как будто кокетничая своей властью, прервал меня Мартен, — не волнуйтесь! Увидите, все устроится к общему удовольствию. Сударыня, садитесь... Чашку чаю — разрешите?

Анна, умиравшая с голоду, с удовольствием разрешила. Снейк налил нам чай, мы удобно усьелись, и Мартен опять заговорил:

— Ну, вот... Вы, стало быть, вдвоем в этом суденышке, которое мы сейчас видели, совершаете путешествие по Ти-

хому океану? Можете вы нам объяснить, что вас толкнуло на такую странную затею?

— Только любовь к морю и пресыщение жизнью на людях. Г-жа де Сов и я одинаково жаждали уйти на время от цивилизованного мира. Оба мы опытные моряки, и путешествие это предприняли на товарищеских началах

Мартен быстро поворачивался лицом то к одному, то к другому товарищу. Глаза его ярко блестели.

— Очень интересно! — сказал он, с густым нажимом над словом «очень». Ручко долго вглядывался в меня своими красивыми глазами.

— Дорогой м-р Шамберлан, — заговорил он ласковым своим, душевным голосом, — Анна де Сов была вашей любовницей до путешествия, или это произошло уже во время путешествия?

Анна гневно поставила свою чашку на стол.

— Что за вопросы! Я не его любовница! Мы товарищи по спорту — только всего! И какое вам до этого дело?

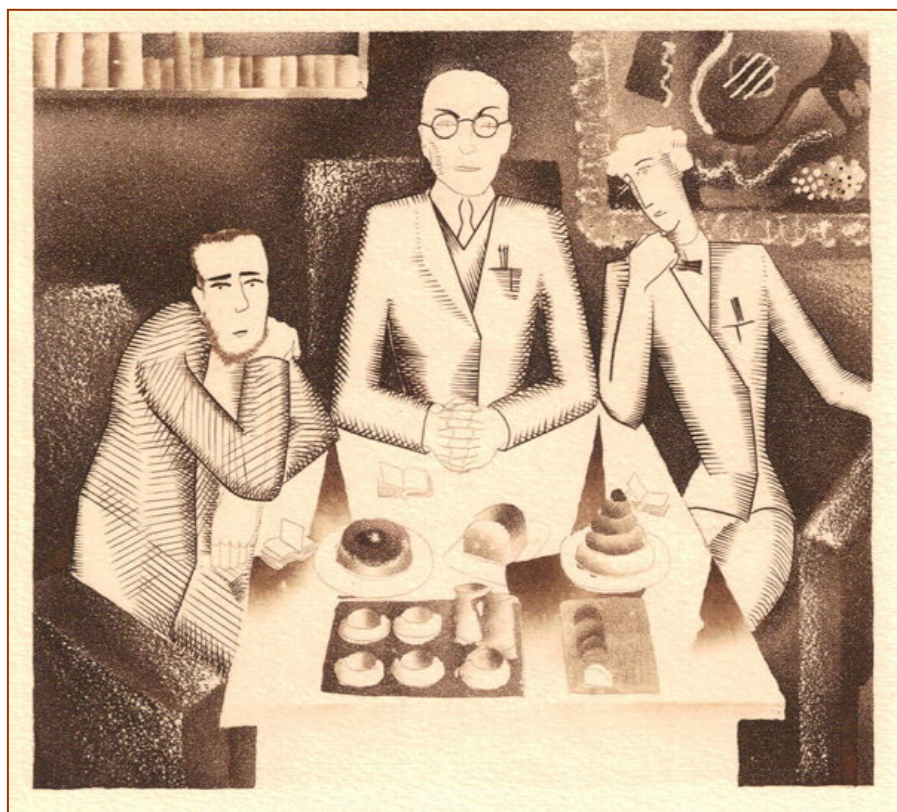
Мартен Жермен смеялся. Станный был у этого человека смех: и детский, и дьявольский одновременно.

— Друг мой, — обратился он к Ручко, — не торопитесь. Прежде всего — терпение! Но тон ее вспышки очаровательный, а? Вы что скажете, Снейк?

— Да-а, — мечтательно протянул Снейк. — И сколько непосредственности.

— Дорогие гости, — начал опять Мартен, — будьте снисходительны к нашему другу Ручко. Он думает, что все любят, как он, исповедь на людях. Но, и я заранее прошу у вас прощения, его вопрос входит в число обязательных вопросов, какие мы, комиссары при иммиграционном ведомстве, должны вам предложить. Говорите без опаски. Вы здесь в стране, где давно упразднены законы условной морали. Если вы близки, то мы примем это к сведению, и никто из нас осуждать вас за это и не подумает. Даже наоборот, — добавил он со странной какой-то усмешечкой.

— Я безо всякой утайки отвечаю на ваши вопросы, — вставил наконец я. — То, что сказала вам г-жа де Сов, — совершенная правда. Мы только путевые товарищи.



— Что? — громко заговорил Ручко, — вы жили бок о бок на этом судне, вдали от людских любопытных, нескромных глаз, и гордость в вас была сильнее желания? Но ведь это случай изумительный, — добавил он, обращаясь к Мартену.

— Очень интересно! — повторил он. — Я боюсь, дорогие коллеги, как бы дальнейшие вопросы не повлияли плохо на психологические возможности данных объектов. Я предлагаю отправить их в Психариум.

— Присоединяюсь к вашему мнению, — сказал Ручко и нежным взглядом обласкал нас обоих.

— А вы, Снейк? — спросил Мартен.

Снейк несколько минут что-то отмечал в своей записной книжке, время от времени поглядывая на Анну. Он вздохнул и ответил:

— Да... В Психариум... Конечно...

— Итак, дорогие гости, — оттого что отныне вы — наши гости, — опять обратился к нам Мартен, — пока Бео исподволь, не спеша, начнут чинить ваше судно, вы будете жить в Центральном Психариуме Майяны. Можете совершенно спокойно отправиться туда. Вы найдете там комфорт, не изысканный, правда, но, хочу надеяться, что он вас удовлетворит вполне. Мы скоро с вами увидимся там. Да, дорогие коллеги, я и забыл... Как же им, одну или две комнаты?

— Конечно, две комнаты, конечно, две... — быстро ответила Анна. И повернулась ко мне: — Но что же это все значит? И что за Психариум такой? Неужели они поместят нас в сумасшедший дом? Неужели мы совершенно бессильны... Пьер, да скажите что-нибудь, Пьер!...

— Господа... — начал я. Но в этот миг вновь овладела мною моя давняя робость, от которой было исцелило меня двухмесячное одиночество вдвоем.

Ручко сделал мне знак молчания, улыбнулся мне благодушной улыбкой, в которой я почувствовал пренебрежительную снисходительность и, словно мы с Анной не существовали для него, словно бы нас не было в комнате, мягко и решительно заговорил с Мартеном.

— Дайте им две комнаты... Но вы обратили внимание

на страстность этой вспышки? Как фанатично они верят в факты... Позовите, пожалуйста, Бео.

Мартен нажал кнопку и в комнату вошел человек в форменном платье.

— Вот, — сказал ему Мартен, — отведите этих двух иностранцев в Психариум. Дальнейшие указания получит уже сама мистрис Александр.

Человек поклонился, нагнулся к Мартену и шепнул ему на ухо несколько слов.

— Ах, да, верно, про эксперта я и забыл, — ответил Мартен, — попросите его сюда.

Анна схватила меня за руку.

— Пьер, ну, умоляю вас, сделайте же что-нибудь... Эти люди принимают нас за сумасшедших или они сами сумасшедшие... Что-то такое они говорили об эксперте... А вдруг нас посадят под замок... Пьер, вы знаете, какое у меня самообладание, но сейчас... сейчас мне страшно.

Снейк посмотрел на нее и подмигнул Мартену.

— Удивительно! — сказал Мартен. — Страх! Этого я уже лет тридцать не наблюдал. — И добавил, будто зритель в театре: — Талантливо — оч-чень. —

В это мгновение открылась дверь и вошел человек с длинной бородой, в блузе, испещренной красильными пятнами.

— Здравствуйте, Август, — приветствовал его Мартен. — Я отправляю в Психариум этих двух наших друзей, и надо, чтобы вы удостоверили...

Человек, названный Августом, прищурил один глаз и уставился на Анну и меня.

— Она, — сказал он, — несомненно, очаровательна... Очень восприимчивая к свету кожа... На мой вкус слишком уже на английский лад вытренирована. Но дело не в моих вкусах... А он? Плоше. Много, много хуже. Но тоже тип любопытный... Выразительные скулы... (Он потыкал большим пальцем в мои щеки и подбородок). — Ладно, беру их обоих.

Мартен предложил нам встать.

Анна подошла к Ручко.

— Послушайте, у вас такое доброе лицо.. Вы обещаете, что с нами ничего дурного не сделают?

— Обещаю, — ответил Ручко, взяв ее за обе руки, — обещаю вам спасти вас от самих себя.

Наш провожатый быстро зашагал, и мы шли за ним с тем забавным ощущением неустойчивости в ногах, какое всегда испытывают первое время на суше люди, проводившие несколько недель на палубе судна.

Город был странный. Нарядный, расцвеченный, как иные города Марокко, но слишком изысканный, утомлявший своей вычурностью внимание и глаза. Мы с удивлением читали названия улиц:

Flaubert Street. — Rossetti Park. — Proust Avenue. — Eupalinos Gardens. — Babbitt Square. — Baring Terrace. — Forster Street*.

— Какой культурный народ! — заметила Анна. — Не город, а библиотека какая то...

Мы обратились было с расспросами к нашему спутнику. Он говорил по-английски, но от ответов уклонился.

— Мне наказано не отвечать вам на вопросы, — сказал он только. — Мистрис Александр вам все объяснит.

Он скоро, впрочем, привел нас на площадь, в глубине которой стояло похожее на большой отель здание, и сказал:

— Центральный Психариум.

Этот дом, где нам предстояло жить, обведен был большим садом, рядами пальм и пышными клумбами лиловых цветов.

— Что же, бывают и такие дома умалишенных, — заметила Анна, — чтобы легче было заманить туда больных.

Внутри Психариум похож был и на больницу, и на музей. Надписи на стенах, расписания, планы, стрелы...

* Улица Флобера, парк Россетти, авеню Пруста, сады Эвпалина, площадь Бэббита, терраса Бэринга, улица Форстера (англ.). (Прим. ред.).

«Свободные субъекты». «Субъекты на испытании». «Беллетристы»: часы приема. «Живописцы и скульпторы»: часы приема...

Приведший нас человек что-то сказал швейцару, тот дал три звонка, очень приятного мелодичного звука, и сказал:

— Мистрис Александр сейчас сойдет.

Мистрис Александр — внешность ее удачно скрестила тип тайтянки с типом англичанки, — в молодости должна была быть очень хороша собою. Она с первого мгновения расположила нас к себе. Хотя и держала она себя с достоинством, с степенной учтивостью, какая подобает заведующей таким серьезным учреждением, но за всем этим проглядывала легкая насмешливость, сообщавшая остроту и увлекательность всему, что она говорила.

— Мне сообщили ваши приметы по телефону, — сказала она, — на этот раз они дали мне описания толковые... Так что все готово... Угодно вам посмотреть ваши комнаты?

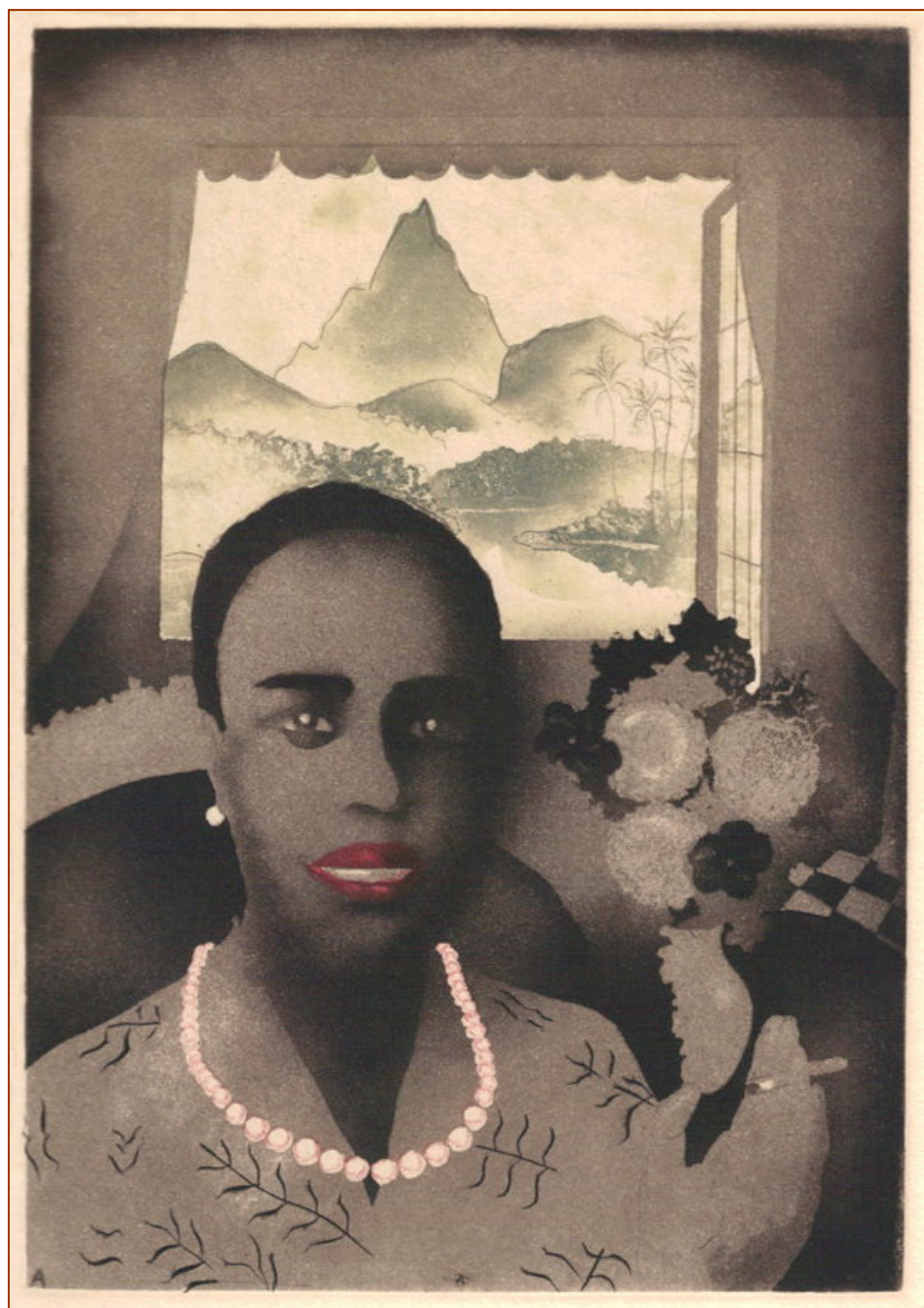
— Мне прежде всего хотелось бы понять... — начала было Анна.

— Вы потом поймете, — сказала мистрис Александр, улыбаясь. — Прежде всего надо посмотреть комнаты.

Лифт поднял нас в третий этаж. Мистрис Александр повела нас длинным коридором и открыла дверь. Более очаровательной комнаты не приходилось мне видеть на моем веку. Мягкие тона — серый и фиалковый, строгие линии мебели, нежная окраска стен, — все удивительно отвечало вкусу Анны, с которым я успел уже ознакомиться. Я высказал ей свою мысль.

— Мистер Снейк сам выбрал для вас комнату, — сказала мистрис Александр Анне, и подойдя к окну, раскрыла его.

С широкого балкона с полотняной маркизой открывался вид на голубовато-зеленое озеро, окаймленное стройными силуэтами кокосовых деревьев. На горизонте четко выделялась вершина Майяны, красновато-черная громада на яркой синеве неба.



— Это восхитительно! — воскликнула Анна. — Но кто же наш радушный хозяин? И чего ждут от нас в обмен? Мы свободны?

— Вполне... При условии лишь, что в известные часы вы будете в распоряжении уже знакомых вам лиц... Впрочем, Майяна — остров. Куда вы можете убежать отсюда?

— Но кто такие «эти лица»? — спросил я. — С тех пор, как мы сошли на ваш остров, мы ни от кого не можем добиться объяснения. Словно чьей-то потехи ради нас окружают этой таинственностью. Нам сказали, что вы рассеете этот туман неизвестности.. Говорите же, умоляю вас...

— С удовольствием, — ответила она. — Но, может быть, вы раньше освежитесь ванной, переоденетесь... Ваша комната там вот, направо, а ванная — смежная.

— Нет, нет, — возразила Анна, — мы хотим раньше узнать, кто такие эти Артиколи? Что такое эта Майяна? И этот Психариум? Что с нами будут делать тут? Я не могу, не могу жить в неизвестности...

— Ну, в таком случае... — Мистрис Александр закрыла окно, подвинула нам кресла и предложила сесть. — Прежде всего, должна успокоить вас. Никакой опасности вы тут не подвергаетесь... Ничего дурного с вами здесь случиться не может. Поживете несколько недель, отдохнете, и поедете дальше. Только и всего... Итак: слышали вы когда-нибудь об английском романисте Антоне Скотте? Одно время, между 1846-1860 г.г., он пользовался большой известностью. На книге, совершенно незначительной, «The Dark Sex»* он нажил огромное состояние и затем исчез из литературного мира.

— Мне имя автора знакомо, и название книги тоже, но я ее не читала, да и никакой другой книги Скотта не читала.

— Ничего не потеряли, — ответила м-сс Александр, — но известно ли вам, что в 1861 году Скотт купил у голландского правительства в полную свою, бессрочную собственность остров Майяну?

* «Темный пол» (англ.) (Прим. ред.).

— Что-то такое я слышал, — вставил я, — чтобы не скучно было одному, выписал на этот остров несколько товарищей по перу? Верно?

— Совершенно верно... Каждому художнику, писателю, живописцу, скульптору, который обязывался не уезжать никогда с острова и признавать его законы, он предлагал бесплатно участки земли. За ним поехало сорок три человека. Это и было первое поколение Артиколей. Они привезли с собою еще около ста двадцати слуг — мужчин и женщин. Эти образовали другой класс населения — Бео, о которых вы уже, верно, слышали. Бео — сокращенное слово «Беотий», — как называл их Скотт. Было на острове немногочисленное туземное население. Туземцы были удивительно красивые люди. Путем браков местное население совершенно растворилось в массе Бео, и в настоящее время чистой крови туземцев на острове уже нет. Все обитатели острова или Артиколи, или Бео. Из десяти тысяч жителей — около шестисот Артиколи, а остальные — Бео.

— А какая разница между ними? Только в происхождении?

— О, нет! Не только это... Да и вообще, происхождение здесь в соображение не принимается. Принадлежность к той или иной касте определяется лишь родом занятий. Артиколи никаких обязанностей не несут. Они занимаются только искусством, литературой, музыкой. Им строго воспрещается всякая торговля, даже книжная. Артиколи не имеют даже права на денежную собственность.

— На что же они живут?

— Живут... Благодаря Бео, а из них многие обладают огромными состояниями. Остров наш изобилует естественными богатствами — тут и рудники, и копи, и каучуковые плантации. Расходов по содержанию армии население острова не знает — нейтралитет острова давно признан всеми державами. Каждый, желающий работать, быстро может разбогатеть здесь. Для каждого богатого Бео, особенно для их жен и дочерей, — наибольшее удовольствие — это угощать Артиколей. Каждый вечер, между пятью и семью часами, вы увидите перед домами наших плантаторов-



Бео накрытые столы, уставленные пирогами, мясными и сладкими блюдами, и за эти столы присаживаются на несколько минут проходящие мимо Артиколи. Прислуживают им молодые девушки-Бео, и когда Артиколи в духе и расположены к беседе, то и этих предупредительных девушек награждают несколькими фразами за их услуги...

В голосе мистрис Александр, даже в почтительности, с какой она осведомляла нас об укладе жизни на острове, обоим нам слышалась едва уловимая ирония. Но мы были так изумлены услышанным, так хотелось узнать еще больше, что только забрасывали ее новыми и новыми вопросами.

— А можно будет нам бывать на обедах Артиколей? — спросил я.

— Да Бео сами пригласят вас... Как только узнают про вас несколько Артиколей, о вас заговорит весь остров. А иностранцам, попадающим в наш Психариум, Бео оказывают особое внимание.

— Но это учреждение... — сказала Анна, — объясните нам, что это такое Психариум?...

— С удовольствием объясню... — ответила мистрис Александр. — В самом начале, у Артиколей, понаехавших сюда из Европы или из Америки, где они жили многообразной общественной жизнью, было очень много всяких литературных, художественных тем. Они могли в воспоминаниях своих черпать еще тысячи сюжетов. У следующего поколения запаса такого уже не было. Но для художников и писателей этого поколения открылся источник местных, как их называли здесь — «майянских тем»: «Жизнь Бео», «Любовь между женщинами Бео и Артиколями» или «Любовь артикольской женщины к Бео».... Но и эти темы были скоро исчерпаны. Тогда Артиколи стали писать друг о друге. Но это многих задевало, и вообще создавались поводы ко всякого рода недоразумениям. Да к тому же, настоящие, живые человеческие чувства они давно уже перестали ощущать, и нечего было наблюдать ни в себе, ни в сердцах своих собратьев.

Иные уже останавливались в своих произведениях на тех, так сказать, отраженных чувствах, какие вызываются уже не какими-нибудь душевными конфликтами, а произведениями искусства. Например, если бы вы были Артиколями, то, совершив такое вот путешествие, вы напечатали бы не только «дорожный дневник», но еще «Дневник» этого дневника, а ваша спутница — «Записки о дорожных записях моего мужа». Это неиспользованная еще залежь тем. Гвоздем последнего литературного сезона была книга Ручко, исповедь на шестнадцати тысячах девяти страницах, озаглавленная: «Отчего я не могу писать». Но не все наделены талантом Ручко. И вот для Артиколей, нуждающихся в героях, в действующих лицах для своих произведений, один умерший лет десять тому назад Бео создал этот Психариум, который представляет собой не что иное, в сущности, как «сад человеческих душ». Психариум наш имеет сотрудников-корреспондентов в Европе, в Америке, которые посылают нам интересные темы. Иногда попадают еще интересные типы в среде Бео. Иногда счастливый случай приводит к нам таких гостей, как вы.

Члены Комиссии все усилия прилагают к тому, чтобы здесь представлены были выразители самых ярких чувств, какими жили старые романтические страны.

— А что вы называете романтической страной?

— Ну, такую, где не все пишут романы... — с неподражаемым лукавым простодушием ответила м-сс Александр.

Мы с Анной переглянулись.

— А вы, мистрис Александр, вы Артиколь или Бео? — спросила Анна.

— О! Я... — ответила она, — по происхождению я — Бео. Но я двадцать лет была женой Артиколя... Я отлично знаю их.

Если бы не сожаление о прерванном путешествии, то нашему пребыванию в Майяне мы с Анной могли бы только радоваться, первое время, по крайней мере. Природа была чудесная, климат превосходный, обращение с нами было отменно предупредительное. Мистрис Александр скоро полюбила нас и отвела нам павильон на берегу озера. Мы могли бросаться в воду прямо с нашей террасы. Это доставляло огромное удовольствие Анне, которая чувствовала себя вполне счастливой лишь в воде. Было истинным наслаждением плавать в этом теплом озере, на дне которого видны были мелькавшие пестрые рыбы фантастических очертаний. Восхитительны были и прогулки за чертою города, в сопровождении слуги, который взбирался на верхушку кокосового дерева, когда нам хотелось пить, и сбрасывал оттуда кокосовые орехи, полные чудесного молока.

Но больше всего занимали нас наблюдения над жителями. Мы на каждом шагу отмечали знаки комической почтительности, какие Бео оказывали Артиколам. Иные из Бео доводили поклонение до того, что собирали для своих коллекций малейшие клочки бумаги, к которым прикасались священные перья Артиколей. Один богатый Бео, например, показывал нам старое перо, которым писал когда-то Ручко, и купленное им за большие деньги у антиквара. Это перо было для него реликвией. Для точного определения отношений жителей Майяны к искусству и художникам, мне пришлось бы пользоваться только такими словами, как религия, жрецы.

Лучшие из Артиколей — святые, живущие в вымышленных, их воображением созданных мирах. Все их желания, чаяния направлены лишь на то, что бы достигать совершенства в произведениях искусства. Высочайшим жизненным достижением мнится Артиколам уподобление великим, чтимым на острове Майяне Артиколам, как Флобер (у многих Бео имеется бюст этого французского писателя), как Шелли — в храме, воздвигнутом английскому поэту, мы ви-



дели мраморную статую, изображающую его совершенно голым, — или Марсель Пруст: в годовщину его рождения в местном театре торжественный спектакль, и майянские артисты читают избранные страницы из его произведений. Между живыми Артиколами наиболее чтимый поэт — Альберти. Всю свою жизнь он вынашивал поэму в тридцать стихов, которую зачал в восемнадцать лет и закончил на семьдесят втором году своей жизни.

Строго жертвенный характер жизни на Майяне дополняет свято выполняемые обязательства. Раз в неделю дается драматический спектакль в театре или концерт в так называемой Исполинской Аудитории. Спектакли и концерты даровые и носят характер народного праздника. Первые ряды отведены Артиколам. Присутствие всех Бео обязательно. Нарушение обязательства не влечет за собою кары, но для выполнения его достаточно и авторитета общественного мнения. На Бео, который не любит, не чтит ни музыку, ни литературу, смотрят, как на пария. Артиколи не садятся за его стол, не принимают его угощения. Другие Бео презрительно отворачиваются от него. В конце концов жена, дети все-таки уламливают его и заставляют хотя бы притворяться благоговеющими перед искусством.

Тайны искусства чтятся здесь совершенно так, как в других странах тайны религии.

Самый знаменитый драматург Майяны — Пьедро Сандзони. Пьесы его прекрасны, но так туманны, что большинство Бео их не понимают. Это только усиливает их благоговение перед Сандзони. Событие, свидетелями которого привелось нам быть в дни пребывания на Майяне, показалось нам особенно характерным, почти символическим выражением отношений Бео к Артиколам.

Любимейшая Садзони исполнительница главных женских ролей в его пьесах, Нозми, актриса с сильным, артистическим темпераментом, играла обычно в состоянии экстатическом, в каком-то трансе. Чтобы вызвать в себе этот необходимый ей для творчества нервный подъем, она наказывала своей горничной, чтобы на дверях ее театральной уборной выведено было имя той героини, которую она

играла в тот или иной вечер. Однажды горничная забыла переменить надпись, и Ноэми вышла на сцену, одетая и загримированная для роли, которая не входила в новую пьесу, объявленную на афише.

Товарищи по сцене, получая лишенные смысла реплики, пытались обратить внимание Ноэми на их растерянность, знаками давали ей понять, что она в заблуждении, что говорит совсем не то, что надо было говорить по ходу пьесы; Ноэми ничего не замечала.

Пьедро Сандзони, находившийся в театре, застыл от ужаса и хотел было уже броситься на сцену и остановить спектакль. Но оглянувшись на задние ряды, и убедился, что ничто не смущает благожелательного внимания публики. Акт доигран был до конца, занавес опустился под шумные аплодисменты Бео. Из долетевших до Сандзони фраз, какими обменивались Бео, он узнал, что по их мнению, это самая сильная из всех его пьес.

Цензура Артиколей воспретила воспроизведение этого эпизода в местной газете. Пьеса напечатана была так, как исполнялась в этот вечер. Заменяя роль пьесы другой, этой пьесе совершенно не отвечавшей, Сандзони дал ей и новое имя: «Лицо из другого мира». Пьеса эта долго не сходила с репертуара, и нам с Анной тоже очень понравилась. Закупленную ее историю мы узнали от мистрис Александр.

Она же рассказала нам, что несколько лет уже молодые Бео, по природе своей бунтари, увлекались новой модой, грозившей печальными последствиями: отрицание значительности Артиколей. Эти Бео осмеливались называть Артиколей паразитами, высказывали желание освободить от них остров, по крайней мере, лишить их привилегий и заставить их жить трудом своих рук. Во главе этой молодежи стоял некий Самфогг, Артиколь-дегенерат, проповедовавший своим ученикам, что жизнь важнее искусства. Этих молодых бунтарей называли Биофилами, и все, конечно, относились к ним с презрением, как к людям глубоко безнравственным. Идеи их, впрочем, широкого распространения не имели, оттого что, едва женившись, Биофилы входили опять в колею нормальной жизни.

Случается, впрочем, и нередко, что среди Бео рождается настоящий Артиколь. Большинство Артиколей третьего поколения происходят от Бео. В Психариуме имеется даже особое отделение, своего рода семинар, где такие случаи подвергаются тщательному обследованию и изучению. Практические преимущества положения Артиколей так очевидны, что симуляция какого-нибудь художественного произведения была бы вполне естественна. Увы, Майяна от таких явлений не избавлена. Но дирекция семинара начеку. Свою профессиональную честь Артиколи оберегают ревностно. Быть может, они иной раз и проявляют излишнюю снисходительность в отношении лже-художников, лже-писателей, которые находят для себя удобным быть на содержании у Бео... Но жизнь подлинного Артиколя нелегка. Период творчества протекает у них с такой же болезненностью, как роды. Промежутки в творческой работе, кажущиеся дни отдыха, в сущности, — дни тревожных, мучительных исканий. Почти все они — здоровья хрупкого, и настойчивое хлебосольство Бео плохо отражается на их пищеварении. Если бы не самоотверженность женщин Бео, жизнь для большинства Артиколей была бы просто невыносима. Артиколь редко выбирает в подруги жизни женщину из своей среды. Опыт показал, что такие браки редко бывают удачны. Но законодательство Майяны дает Артиколю предпочтительное право на любую женщину Бео, если он заявляет под присягой, что эта женщина ему необходима для успешного художественного творчества. Закон предусматривает в таких случаях временный союз между Артиколем и Бео, не расторгающий заключенный раньше брак с Бео; и лишь в случаях предполагаемого отсутствия Артиколя временно освобождает Бео от обязанностей в отношении своей жены. Это преостроумное разрешение конфликта, устраняющее возможность тайного, гнусного адюльтера, и европейским странам следовало бы последовать этому примеру. Что касается мужа-Бео, то выбор, падающий на его жену, он почитает большой для себя честью. Он знает, что имя его упомянуто будет в истории великих Артиколей, и что в общественно-историческом значении

он выиграет то, что потеряет в верности своей супруги.

Иные Артиколи, впрочем, жалуются на предоставленные им привилегии. Оттого что литературная ценность любви, — говорят они, — именно в преодолении затруднений и преград. Должен сознаться, что лучшие романы, какие я прочел на Майяне, написаны были давними Бео, что, очевидно, подтверждает теорию Артиколей о литературной полезности любви, пути которой не укатываются привилегиями.

Несчастье Артиколей, едва ли ими сознаваемое, мне кажется в том, что они утратили контакт с жизнью, с действительностью. В нормальном обществе художник чего-то добивается, борется, в молодости, по крайней мере. И об этой поре сохраняет он воспоминания любви, ненависти, целую гамму ярких, сильных чувств. Жизнь на Майяне никаких усилий от художника не требует. Артиколям не за что бороться, нечего одолевать. И оттого они невероятно невежественны. Читатели не поверят мне, пожалуй, что вопросы, какие я сейчас приведу, предложены были Анне и мне наиболее образованными Артиколями.

— Мне надо вставить в книгу, которую я готовлю к печати, описание горной пограничной местности, через которую проходят контрабандисты, — говорил мне один Артиколь. — Но как переходят гору? Тропинками? Дорогами? Насквозь? — Другой долго расспрашивал об устройстве судна; он не понимал назначения руля, парусов, весел. Точно так же чужды им всякие экономические вопросы, так как ими занимаются Бео. Один лишь старый Альберти много всего видел за долгие годы, когда ничего не писал, а лишь готовился писать и приобрел за это время огромный запас наблюдений и знаний. Один из самых замечательных людей, каких пришлось мне встречать в жизни. Но в глазах ортодоксальных, верных своим принципам Артиколей, этот Альберти — еретик.

Единственная реальность для Артиколя — та работа, которой он в данное время поглощен. Все остальное, то, что мы называем жизнью, действительностью, для него — что-то вроде запаса или рыбного садка, куда он заглядыв-

вает, когда ему нужно что-нибудь для духовного питания. Беседы с Артиколами доставляют мне часто большое удовольствие, и вместе с тем у меня всегда в их обществе какое-то смутное чувство неудовлетворенности. Мне всегда кажется, что разговаривая со мною, они видят перед собою не меня, а вымышленное ими существо. В самом разгаре беседы они вдруг куда-то исчезают, оставаясь на своих местах, но вы чувствуете, что где-то они парят над вами, где-то высоко, высоко. Личная жизнь их складывается согласно фабуле, развивающейся в их произведении. Артиколь бросает возлюбленную? Значит, ему нужна суета разрыва. Он изменяет жене? Стало быть, ему необходима суета ревности. С изумлением выслушивал я от седовласых стариков с непорочными глазами такие признания: «Мне нужна молодая девушка, кровосмешительство, преступление».

Оттого, почти у всех Артиколей такая сложная внутренняя жизнь. Иные, по природе своей — постоянные, целомудренные, рады были бы оставаться такими до конца своих дней. Но им необходимы возбуждающие мозговую деятельность сильные чувственные ощущения, и, конечно...

Жермен Мартен однажды с циничной откровенностью объяснял мне, что наиболее благоприятную для творчества атмосферу дает рождение новой любви. — В эти моменты внутреннего напряжения и страстного самообольщения, — художник творит с такою же легкостью, с какой птица поет. — И, по его мнению, Артиколь в каждой женщине должен видеть возможную для себя любовницу, так как талант питает разнообразие чувственных ощущений, а не только удовлетворение желаний. — Брак, говорил он мне еще, — вообще, продолжительная связь с одной женщиной, — смерть для большого художника. Меня убедил в этом долгий личный опыт.

Но если сложна личная жизнь Артиколя, то совсем упрощена на острове Майяна жизнь политическая. Артиколи политикой не занимаются. И управление островом поручено комитету, состоящему из одних Бео. Артиколи ведают только зрелищами, издательствами и отделом иммиграции.

Единственная газета на острове печатает лишь сведения о готовящихся к печати произведениях и о физическом и нравственном самочувствии Артиколей. Например, в день нашего водворения в Психариум я прочел в газете большую статью об «Астме Ручко». В течении следующей недели печатались имевшие большой успех статьи о снах, приснившихся Артиколям.

Некоторое внимание Артиколи оказывают лишь вопросам общественного благоустройства, полицейским уставам, обязующим жителей блюсти тишину. В этой части города, где живут Артиколи, мостовая покрыта каким-то каучуковым составом, заглушающим шум экипажей. На этих улицах запрещены гудки, свистки, сирены и громкий говор. За исключением обеденных часов, на этих улицах можно разговаривать только шепотом. Полицейский литературной бригады составил против Анны, у которой такой мягкий, милый голос, протокол за то, что она громко сказала: «Вот дом Альберти». К счастью, на необычный шум подошел к окну сам поэт и уладил эту историю. Пользование телефоном воспрещено с девяти утра до полудня. Для Артиколей с особо чувствительными нервами правительство построило «Башню молчания», в которой все комнаты выложены пробками. Приближаться к этой башне жителям строго воспрещается. Они обязаны обходить ее на расстоянии 400 метров, и доступ к ней имеют только приставленные к Артиколям слуги, да и то лишь в известные часы.

Женщины-Бео, выходящие замуж за Артиколей, до свадьбы проходят курс в специальной школе, где их постепенно приучают к молчанию.

Анна говорила, что и многим Артиколям не мешало бы проходить курс в этой школе: мы нахвалиться не могли на внимание, каким окружены были в Психариуме, и жизнь на острове была для нас полем интереснейших наблюдений, но от ежедневных посетителей, от которых отделяться нельзя было, мы страдали безмерно.



Ручко привязался ко мне. Он спросил у меня имя моего отца, стал называть меня «Петр Иванович», каждый день приходил побеседовать и сидел несколько часов. В свою очередь, он и меня к себе сумел расположить. Более различных людей, однако, трудно было себе представить: я, совершенно не умеющий говорить о личном, о сокровенном, человек очень замкнутый, он — органически несдержанный, с упоением обнажавший свою душу перед человеком, к которому чувствовал симпатию. Так изливаться я не умел, но его откровенность чтил, и она занимала меня. Это был самый чистый, самый бескорыстный из всех Артиколей. Жил он только литературными интересами, своей работой и работой своих друзей. Правда, когда я познакомился с ним, он медленно угасал от болезни легких, что не было для него тайной. Но Жермен Мартен, знавший его в молодости, уверял меня, что он всегда был таким.

Ручко очень сокрушался о том, что я не пишу. По его мнению, жизнь, не посвященная искусству, лишена была всякого смысла. Жить оставалось ему несколько месяцев, но считал он себя богаче меня, молодого, здорового, но поглощенного житейскими заданиями, которые в его глазах равны были небытию, живой смерти. Про себя он решил, по-видимому, что единственное средство расшевелить меня, это вызвать меня на разговор об Анне и заставить меня уяснить себе самому свои отношения к ней. Мягкий, кроткий, он начинал раздражаться, когда я уверял его, что по мере того, как затягивалось наше путешествие, определялось и мое товарищеское, дружеское отношение к Анне: физическая и душевная уравновешенность, какую Ручко угадывал в таком чувстве, приводила его в ярость. Я-то знал, какой борьбой достигнута была эта уравновешенность, и гордился ею, ставил себе ее в заслугу. Он, зная, что ему такое душевное состояние недоступно, презирал его.

— Нет, нет, — говорил он, — сжимая мои руки и глубоко вглядываясь в мои глаза, — нет, Петр Иванович, вы неправду говорите. Вы самого себя обманываете, вы избегаете очной ставки с самим собой. Я, я отлично знаю, что эта легкомысленная беспечность ваша не что иное, как притворство, что вы способны на глубокие, сильные чувства.

После его ухода меня всегда томило какое-то смутное чувство неловкости, неудовлетворенности, и я не мог уяснить себе, вызвано ли оно сознанием своей посредственности или истеричными излияниями Ручко.

От меня он уходил иногда к Анне и ей излагал свои мысли обо мне: «Самое трагическое в положении Петра Ивановича, — что гордость его облекается в тогу чести, и душит его подлинные чувства... Подумайте, Анна Михайловна, люди боятся тюрьмы, железных решеток, тюремщиков, и не замечают, что сами создают для себя тюрьму из слов, которая во сто раз ужаснее. В тюремной камере еще можно быть самим собой. Скажу больше: в тюрьме даже легко быть самим собой, но душа, над которой поставлен гасильник чести, морали, обычаев, общественного мнения, такая душа — мертва. Вот и Пьер — замкнулся в себе, и достиг этой лишь кажущейся, конечно, горделивой сухости, а на самом деле, ведь это такой богатый духовно человек...» — Он брал руки Анны в свои и говорил: «Анна Михайловна, умоляю вас, помогите мне спасти его».

— А от чего надо его спасать? — недоумевала Анна.

— Мы должны поставить его лицом к лицу с собственным его «я», которое он медленно убивает в себе... Сейчас он сам себя отрицает, обводит себя недоступной стеной, играет какую-то странную, отвлеченную роль. — Этот анализ, который Ручко неустанно производил над другими, был так заразителен, что и Анна стала донимать меня вопросами. Такой, и совсем еще недавно, простой, ясный человек, она теперь ни одно мое слово не воспринимала, как выражение подлинной моей мысли. Уже она доказывала мне, что я сказал то-то, оттого, что думал другое, противоречившее тому, что я сказал. Жизнь становилась невыно-

симой. Временами, глядя на себя в зеркало, я думал: «Но неужели — я, не я?» И мне казалось, что я — не я.

К концу четвертой недели моего пребывания на Майя-не я стал, по примеру Артиколей, записывать свои мысли. Дневник лежит сейчас передо мною. Приведу из этой пожелтевшей от морского воздуха тетрадки несколько страниц, дающих представление о том, в какой душевной тревоге я жил тогда.

«2-ое июля. Очень подавлен. А если Ручко прав? Не играю ли в самом деле роль, за которой скрываю свое подлинное лицо? Откуда во мне это беспокойство, эта неусидчивость? Зачем я пустился в это путешествие? И зачем возвращаться теперь во Францию? Мне не нужна ни слава, ни шум. Или прав Ручко и я, действительно, бегу от самого себя?»

3-е июля. Опять беседовал с Ручко. Да, конечно, я бегу от самого себя. Неужели я не тот, что говорят мои слова и поступки?

4-ое июля. Катался по озеру весь день. Вечером поднялся на вершину горы. Чувствую себя лучше. Двигаться, ходить, ощущать силу своего тела и усталость — хорошо!

5-ое июля. Я, я, я... Но кто же я? Эти пальмы, море, мыс вдали, бумага, на которой я пишу, — это я? А если все это уничтожить, — что останется? С дрожью, с трепетом вспоминаю я теперь эту пережитую бурю. Я мог умереть, не изведав жизнь до дна.

6-ое июля. Я глубоко несчастен.

7-ое июля. Я знаю, что я наивный педант, и помимо своей воли приступаю к поэме в прозе — подражанию Снейку.

«Судно взбирается по скату волны — как поезд по горному склону — и падает с шумом треснувшего дерева — в узкой, узкой щели меж вершин... Ах, если бы я знал, что пучина поглотит нас, я попросил бы у судьбы дать мне изведать перед смертью поцелуй, соленый, как морская вода. — И умер бы с облегченным сердцем, оттого, что раньше или позже надо умереть. — Нет. Я схожу с ума...»

Не мог устоять против болезненного желания показать Ручко начало моего стихотворения в прозе и выслушать его суждение. Оно не привело его в восторг, и это немного уязвило меня, что важно отметить. Неужели я стал уже Артиколем? Но зато он долго выпытывал у меня то, что он называет «подоплекой» — Артиколям в чужих произведениях всегда мерещится роман, который они сами же сочиняют, слушая своего собеседника.

10-ое июля. Ручко принес мне поэму Снейка. (Косвенная критика моей? Или как образец?) Я запомнил четыре строчки: «Я жаждал вас, как никогда ни один мужчина женщины не жаждал. — В горле пересохло, в глазах огонь. — Ваш полуоткрытый рот — разверзшееся небо. — Запах вашего тела — смертная мука...»

По-видимому, это хорошо. Но так и я, пожалуй, мог бы написать. Я спросил Ручко, давно ли Снейк написал эти стихи. — Нет, — ответил он, — на прошедшей неделе.

После ухода Ручко я долго гулял вдоль озера. Надоели мне это яркое солнце, эти золотые рыбы, эти кокосовые деревья! Нет таких красот природы, которые бы в конце концов не приелись человеку...»

Перечитывая эти строки моего дневника, я вспоминаю, как я был в сущности несчастен на Майяне, несмотря на чудесный климат и внимание, какое оказывали нам очаровательные обитатели острова. Жермен Мартен находил как будто особое удовольствие в том, чтобы мучить меня.

Он заходил ко мне через день с явным заданием: возбудить во мне ревность к Снейку. Как и Ручко, он уверен был в том, что я влюблен в Анну.

— Беспокоит меня мой юный друг, Снейк, — начинал он своим приятным, медлительным, немного надтреснутым голосом, — он часто выдается с вашей милой соседкой, и вчера долго говорил мне о ней. Не понравилось мне, как он говорил о ней... И работать стал меньше, и не клеится у него работа. Последние два стихотворения, что он читал мне, удивили меня грубой своей чувственностью. Совершенно недостойны они великого майянского поэта, каким мы считаем Снейка.

— Мартен, я много раз слышал от вас, что Снейк бесплотное существо. Если это так, общество Анны доставляет ему самое безграничное удовольствие. В их частых встречах, стало быть, никакой опасности ни для него, ни для нее. Снейк ведь скорее дух, а не мужчина...

— Да-а, — ответил Мартэн, — да-а... Но слово «бесплотный» никогда не следует понимать буквально, когда речь идет о человеке. Я вспоминаю давние беседы со Снеэйком о чувственной любви. Он обнаружил изумительную даже для своих лет осведомленность... Ну, что же? Если вы спокойны, стало быть, и говорить не о чем. Я беспокоился больше всего о вас. Что же Снейк... Если он почувствует сильное влечение к вашей спутнице, то по майянским законам, он может ее получить. Каждая иностранка у нас на положении женщины-Бео в отношении ищущего жены Артиколя...

— Как так!... Ничего не понимаю, — ответил я. — Не можете же вы, помимо желания Анны... Какие дикие нравы!... Впрочем, сама Анна...

Мартен медленно, властно поднял левую руку.

— Друг мой!.. Неужели мы можем допустить, чтобы простая смертная упорным сопротивлением увлеченному ей художнику препятствовала появлению художественного произведения... Конечно, период выжидания даже необходим. Ничто так не благоприятствует возникновению ярких, глубоких ощущений. Но мы не можем допустить, чтобы желание перешло в страдание, парализующее творчество.

Не помню уже точно, что я ответил, но ответ мой был кажется, столько же пылок, сколько бессвязен. Мартен молча посмотрел на меня, рассмеялся дьявольским своим смехом и сказал:

— Оч-чень ин-терес-но...

VIII

Солнце было ослепительно, море светло-лиловое, цветы в саду Психариума восхитительны, но Майяна стала мне ненавистна. Я чувствовал, что погрязая в этом болоте самоанализа, что уподобляюсь неприятнейшим из Артиколей, что эти вечные размышления о самом себе медленно отравляют мою душу. С Анны тоже сбежали яркие краски, которыми я любовался во время нашего путешествия, она нервничала и таяла на глазах. Надо было бежать. Каждое утро я отправлялся в гавань узнавать, подвигается ли починка судна. Плотник Бео медленно заменял старые доски новыми, вяло возился у бугшприта, но когда я спрашивал, скоро ли он кончит, он смущенно переминался с ноги на ногу и отвечал, что он не получал еще «от них» точных распоряжений.

Бедный Ручко доживал последние дни. Каждая попытка вытянуться, чтобы уснуть, сопровождалась припадками удушья. Врач говорили, что он может протянуть еще дней восемь, десять, — не больше. Весь остров с благоговейной скорбью следил за этой агонией. И, действительно, это был героический конец. Последние свои дни и часы Ручко диктовал (писать он уже не мог) заметки о своей болезни, под общим заглавием: «Смерть Ручко».

Мне тоже привелось услышать несколько отрывков в те дни, когда я навещал его. Мне кажется, что более замечательных страниц я в своей жизни не читал. Каждый миг болезни описывался им с изумительным самообладанием и точностью выражений. Для меня смерть перестала с той поры быть далекой незнакомкой, какой была до этого. Я теперь так же ясно представляю ее себе, как любовь или бурю.

Напрягая все свои силы для этой последней работы, он лежал неподвижно с закрытыми глазами и только следил за внутренними движениями своего разлагавшегося тела. Посетители на цыпочках входили в комнату больного, где именитейшие Артиколи стояли молча вокруг умирающе-

го. В дальних углах комнаты молодые девушки Бео с волнением, отражавшимся на их лицах, ловили звуки угасавшего голоса. В эти минуты я понимал и величие Артиколей, отлично в тоже время понимая и слабости их.

Но не одна только эта трагедия разыгрывалась в те дни на Майяне. В то время, как умирал Ручко, сходил с ума очаровательный Снейк. В том смысле, правда, как понимали сумасшествие Артиколи. Должен напомнить читателю, что Артиколь в нормальном состоянии, подлинный, реальный мир считает сном, — реальность же для него только мир Искусства, то есть мир вымышленный. Если в психике Артиколя происходит перемещение этих понятий, если больной Артиколь начинает смотреть на жизнь, как на самую важную реальность, важную до такой степени, что забывает ради нее о своем долге служения искусству, то врачи Майяны утверждают, что он лишился рассудка.

Вот это-то случилось и со Снейком. Мартен несколько дней уже с тревогой говорил мне о том, что Снейк перестал работать. Я не придавал большого значения этим сообщениям, и к тому же мне казалось, что он заводит со мной речь о Снейке лишь затем, чтобы выпытать у меня какое-нибудь замечание.

Но в одно утро Мартен вошел ко мне мрачный, как туча. Этот раз волнение его было неподдельно:

— Бедный Снейк! — начал он, — завтра его будут осматривать специалисты по душевным болезням, и я боюсь, что ему предписан будет долгий отдых и, по всей вероятности, придется поместить его в дом умалишенных. Жаль! Один из даровитейших людей на острове. Большой поэт... Артиколи, видите ли, с недостаточной серьезностью относятся к такому важному вопросу, как допущение иностранцев на наш остров. Это большая ошибка с нашей стороны. Правда, они обогащают нас несколькими типами, но большой художник создает образы, пишет, лепит и без модели. Худа же от чужеземных гостей, пожалуй, больше, чем добра... Да-а!

Он похлопал меня по плечу и с искренней серьезностью, какой я в нем и не предполагал, продолжал:

— Знаете, Шамберлан, если мне придется опять председательствовать в заседании Иммиграционного Комитета, я ни одной женщине не разрешу высадиться здесь... Пустить сюда европейскую женщину! Подвергать такой сложный, такой утонченный инструмент, как душа Артиколя, прихотям, капризам, кокетству такого вот ужасного существа! Нет, пока с моими мнениями хоть сколько-нибудь будут считаться здесь, такие опыты повторяться не будут... Что касается вас, друг мой, и вашей спутницы, или возлюбленной, сестры, — называйте ее, как хотите, то я предложил бы вам уехать как можно скорее.

— Вы серьезно говорите? Мы сможем уехать?

— Я распорядился сегодня в Департаменте общественных Работ, чтобы за ваше судно принялись теперь в срочном порядке. Я думаю, что оно будет готово не позже, как через неделю.

Должен признаться, — несмотря на печальную картину этой внезапной перемены (безумие несчастного, милого Снейка), — я едва мог совладать с нахлынувшей на меня радостью. Но понимал, что выдавать ее было бы большой бестактностью.

— Расскажите мне подробнее о Снейке, — попросил я Мартена. — Что с ним случилось? Внезапный припадок?

— Да, — ответил Мартен. — Я ведь не скрывал от вас, что Снейк сильно увлекся вашей приятельницей. Первое время я не придавал этому большого значения... Несколько дней тому назад, узнав, что он почти не работает, и заметив, что на все вопросы о его поэме он отвечает невпопад, я сказал ему, что Комиссия Браков, где я состою вице-президентом, может представить ему месяца на три, четыре эту особу... Можете представить себе мое изумление, когда он ответил отказом.

— Он отказался? — быстро подхватил я.

— Отказался, — с негодованием повторил Мартен. — Эта Анна, так он объяснил мне свой отказ, любит вас, она сама ему это сказала, и что он мог бы сойтись с нею лишь с ее согласия... Мне ясно было, что он заговариваться стал, бедняга, и я счел долгом позвать врача. Увы, диагноз врача

подтвердил мои предположения. Глубокая уверенность в том, что только жизнь — это реальность. Словом, несомненность психоза первой степени... Со вчерашнего дня состояние его еще ухудшилось. Сегодня он бредит с утра, и все твердит, что стихотворение — это произвольное сочетание слов, что каждый художник — мистификатор, что один час любви — ценнее всех книг в мире, — словом, несомненное безумие...

Я раскрываю мой майянский дневник на последней странице, помеченной тем днем, когда узнал от Мартена о несчастии, случившемся со Снейком, и нахожу на этой странице одну лишь строчку:

«Эта Анна любит вас, она сама ему это сказала».

IX

Судно наше, заново выкрашенное, стояло под розовато-желтыми парусами, красиво выделявшимися на фоне ярко-синего неба. В дверях Психариума мистрис Александр расцеловала Анну:

— Простите, — сказала, она, — за то, что помимо моей воли, так долго задержала вас здесь.

— Мистрис Александр, что вы... Вы так скрасили нам пребывание па Майяне... Благодаря вам, мы увозим чудесные воспоминания...

— Ну, не такие уже чудесные, надеюсь, — с таинственной своей, грустной улыбкой ответила мистрис Александр. — Я хотела бы, чтобы позднее вы и с некоторым ужасом вспоминали о Майяне. Майяна должна укрепить в вас любовь к тому, что не есть Майяна.

— Я вам это обещала, — тихо сказала Анна.

Я понял, что это были намеки на темы их бесед, в которых я не участвовал, и отошел па несколько шагов. Они еще раз поцеловались и Анна уже бегом догнала меня.

Жермен Мартен пришел в гавань проститься с нами. Нам искренне жаль было расставаться с ним. Мы знали

теперь, что он использовал наши отношения, как только мог, но прощали ему это за его ум и не только за ум. Это был обаятельный человек, и с грустью думали мы в эти последние минуты о том, сколько узлов добрых человеческих отношений развязалось и завязалось за короткое наше пребывание на острове. Из трех судей, встречавших нас на этом берегу, только один присутствовал при нашем отъезде. У Анны были красные глаза, у меня, быть может, тоже... Мартену, как истинному Артиколиу, чужды были волновавшие нас чувства (психоз первой степени), и волнение он быстро отметил в своей записной книжке.

Моряки-Бео умещали на судне ящики с провизией. Жители Майяны и тут проявили удивительное великодушие: мы увозили с собой съестных припасов гораздо больше, чем нужно было на краткий переезд до Таити. Мартен с притворным равнодушием говорил о мелочах. Он старался, по-видимому, о том, чтобы эта сцена расставания сделана была, как глава одной из его книг. Когда мы в последний раз пожимали ему руку, он сказал только:

— Прощайте! Напишите же мне, как кончилась эта повесть.

Мы медленно отчалили. Потом паруса наши стали надуваться. Мы обогнули мыс, где среди красных скал похоронен был бедный Ручко. С другой стороны острова белел среди пальм дом с убранными цветами балконами: там Снейк, вероятно, видел перед собою слишком реальный образ Анны.

Солнце медленно уходило с золотистого неба. Море тихо рябило. А там побледнели и растаяли лиловые облачка, и над нами задрожали первые звезды.

Мы сидели с Анной на палубе и говорили об Артиколях.

Теперь, когда нас уже отделяла от них хотя бы и неширокая даль, все черты и странности их представлялись нам преобразенными этой далью и значительными.

— Да, они освободились от материи, — говорил я, — а ведь к этому, в сущности, направлены все усилия человечества. Другие народы побеждают власть вещей чародей-



ством, религией, наукой... Артиколи избрали другой путь. Они, пожалуй, опередили нас.

— Возможно, — сказала Анна, — Но я вот думаю: действительно ли они свободны? Или только мнят себя свободными? И счастливы ли они?

— Смотря кто... Я думаю, что Ручко был счастлив.

— Да, Ручко был счастлив, оттого что считал себя счастливым. Но, этот дневник? Вряд ли может быть у счастливого человека такая потребность жить два раза... Вернее, пожалуй, будет сказать, что Ручко был несчастный человек, умевший одолевать свое несчастье.

— Разве это не счастье?

— Нет, — сказала она, весело тряхнув головой... — Я уверена, что есть и настоящее подлинное счастье.

Она подумала и добавила:

— А Снейк? Он-то был счастлив?

— До встречи с вами, да... Помните, какой он был в день нашего приезда? Юный Феб! Благодаря вам, он упал с небес на землю. Когда оправится от падения, опять упорхнет. Снейк спасется. Вот Мартен... В этом я менее уверен...

Она глубоко вздохнула и провела язычком по своим губам.

— А! Какой соленый воздух... — и опять заговорила об Артиколях:

— А будущее? Что с ними будет? И с Майяной лет через двадцать?

— Кто знает? Быть может, все Бео станут Артиколями, и тогда некому будет работать, и весь остров медленно умрет голодной смертью...

— Или наоборот, — добавила к моим словам Анна. — Бео восстанут, решив, что слишком долго были жертвами самообольщения Артиколей, и сметут с лица земли всю их культуру?

— Все возможно, милая Анна, все возможно...

Анна взяла мою руку и сама обвила ею свои плечи. Встала луна, выплыли серебряные облака. Небольшие волны мягко ударялись о борта судна. Тонкий, такой уже знакомый мне запах Анны сливался с ароматами морской но-

чи. Мне вспомнилась фраза из стихотворения Снейка: «Ваши полураскрытые уста — разверзшееся небо». Я приник к этим устам, и был бы безмерно счастлив в это мгновение, если бы не странное ощущение, что, притаившись в ночной тишине, нас подслушивает огромный Артиколь.

Примечания

Новелла прославившегося позднее своими художественными биографиями, романами и эссе французского писателя А. Моруа (1885-1967) «Путешествие в страну Артиколей» («Voyage au Pays des Articoles») впервые вышла в свет в 1927 г.

В № 12 эмигрантского пражского журнала «Воля России» за 1928 г. (декабрь) появился затем и приведенный в нашей книге авторизованный русский перевод. Этот перевод, опубликованный в оригинале под заглавием «Путешествие к Артиколям», был выполнен писательницей и переводчицей А. Даманской (1877-1959).

Текст публикуется по журналу «Воля России» с исправлением некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации. Иллюстрации художника и аниматора А. Алексеева (1901-1982) взяты из издания: Maurois A. Voyage au pays des Articoles. Eaux-fortes et bois en couleurs par Alexandre Alexeïeff. Paris: Jacques Schiffrin, Editions de La Pléiade, 1927.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.